

Александр Левитов

Всеядные



Александр Левитов

Всеядные

«Public Domain»

1877

Левитов А. И.

Всеядные / А. И. Левитов — «Public Domain», 1877

«Нынешним летом Петра Петровича Беспокойного, по природе человека крайне нервного, а по ремеслу, как стали недавно говорить, литературщина, его всегдашний враг – желчь – разукрасила какими-то особенно болезненными, иссиня-желтыми красками. В то же время он приметил, что вместо печени у него имеется грецкая губка, обильно налитая разнообразными препаратами, производящими постоянную тошноту и головокружения, доходившие до обмороков...»

Содержание

I	5
II	9
Конец ознакомительного фрагмента.	10

Александр Иванович Левитов

Всеядные

(*Картины подмосковной дачной жизни*)¹

I

Нынешним летом Петра Петровича Беспокойного, по природе человека крайне нервного, а по ремеслу, как стали недавно говорить, литературщина, его всегдашний враг – желчь – разукрасила какими-то особенно болезненными, иссиня-желтыми красками. В то же время он заметил, что вместо печени у него имеется гречкая губка, обильно напитанная разнообразными препаратами, производящими постоянную тошноту и головокружения, доходившие до обмороков.

Приняв все это в должное внимание, а также и свой вечный кашель – результат застарелого желудочного катара, Петр Петрович задумал месяца два прожить где-нибудь «под сенью струй»², рассчитывая, что если сельская природа и не излечит его многочисленных недугов, то хоть, по крайней мере, он не будет надоедать нумерным соседям своим непрерывным кашлем.

Задумано – сделано. Один приятель Петра Петровича, шустрый такой, хотя еще и не знаменитый, художник в синих очках, живо стащил его в одну подмосковную деревеньку, где он во время своих тасканий за эффектными типами и ландшафтами приобрел себе куму. Кроме заманчивой кумы, которая, по словам художника, была не какая-нибудь деревенская буйволица, а женщина в полном смысле – *комильфо*, в деревеньке имелись – железистый пруд, чудодейственные воды которого неоднократно воскрешали мертвых, и березовая роща, где Петр Петрович, по уверениям своего художественного друга, мог без малейшей помехи каждый день писать по пяти самых лучших романов и, кроме того, огребать чертовы кучи всяких грибов первейшего сорта.

И вот, в силу обольщений, находившихся в распоряжении подмосковной деревеньки, мы «одним прекрасным вечером» видим Беспокойного сидящим на завалине одной из ее изб. Перед ним стоял самовар, который в лад с тишиной довольно уже позднего вечера напевал какие-то тихие, исполненные меланхолии песни. Почти у самых ног Беспокойного расстился светлый пруд, густо поросший осокой и болотными лилиями, а за прудом, в задумчивом молчании, стояла молодая березовая роща, насквозь пронизанная золотым сиянием месяца. После вечно и безалаберно горланящей суety большого города больному, измученному ею человеку как-то особенно покойно сиделось без шапки под этим синим небом, усеянным звездами; вокруг него летала ласковая вечерняя прохлада, обдувая его воспаленную голову и возбуждая усталое сердце острым запахом растительности, налетавшим на село с дальних полей.

Это был первый день или, лучше сказать, первый вечер, который Петр Петрович проводил в деревне. Ему было хорошо, и он осязательно чувствовал, как отдыхает и крепнет его измоленный организм. Он ничуть не интересовался в настоящую спокойную минуту теми так тесно связанными с жизнью в большом городе заботами, которые не далее трех-четырех часов тому назад так деспотически владели им. Прямо пред глазами Беспокойного, отделенный от деревни небольшим оврагом, стоял большой помещичий дом, светившийся тем таинственным, располагающим к полнейшему бездумью полусветом, который делают лампы, закрытые разноцветными абажурами. Из дома неслись могучие звуки дорогого рояля, певшие что-то классическое, строгое, напоминавшее Беспокойному музыку, которою дорогие люди, теперь давно

² «...под сенью струй» – ставшее ходким выражение Хлестакова из «Ревизора» Н. В. Гоголя.

уже умершие, ласкали его детство, – и в то же время совершенно противоположное тем так называемым *легким* мотивам, которые должно было выслушивать во время приближающейся старости его болезненное одиночество. Он напряженно слушал эту строгую музыку: без его ведома в голове его пролетали какие-то смутные, тревожившие мысли о том, что эти стройные звуки, некогда столь знакомые ему, отнесены текущим временем к «области преданий» и что их место заменили теперь другие звуки, весело зовущие человечество на веселый канкан. Апатичными взмахами рук Беспокойный отпугивал от себя эти думы вместе с комарами, назойливо облеплявшими его лицо, и во все глаза смотрел на звезды, дрожавшие в пруде, на месячные лучи, скользившие по роше расплавленным золотом... Видимо было, что картина эта нравилась ему: он сидел, углубленный в немое созерцание ее красоты, и думал, думал...

Роман, для окончательной отделки которого, помимо излечения от всяких болезней, Беспокойный приехал в подмосковную деревеньку, приходил в его мыслях к концу. В нем такое же мирное небо с светлыми звездами, такой же тихий пруд, такой же безмолвный полуосвещенный дом, – и вот бедный, больной человек, ободренный великою силой природы, помещает в ее величавое, светлое царство мужчину и женщину.

Страстно всматривается Беспокойный в разнообразные, придуманные им фазисы, в которых волею его возбужденной мысли должна вращаться созданная им пара. Вывел он ее на такой широкий простор, который расстилался шире этих лугов неоглядных, который был светлее звезд небесных и покойнее беспробудно спавшей роши, в которой не шевелился ни один листок.

Увенчанная цветами и провожаемая гармоничными созвучиями сочиненного Беспокойным простора, блаженно проходит его пара свой жизненный путь, – и Беспокойный радужно улыбается созерцаемому им блаженству, нисколько не смущаясь тем обстоятельством, что его кашель, перелетая через пруд в рошу, гремел в ней учащенным батальным огнем, распугивая приютившихся там на ночь галок и ворон.

Такое молчаливое поведение Петра Петровича и ничем не объяснимая улыбка, во весь вечер не сходявшая с его губ, ввергли в большое недоумение его дачную хозяйку – куму художника. Все ее светскости были крайне манкированы этим кашляющим и улыбающимся человеком. Прощедши огонь и воды в шатаниях по разным именитым господам в качестве воспитанницы, крестной дочери, любовницы, горничной и, наконец, белой кухарки, она справедливо рассчитывала на большее внимание со стороны жильца, тем более что кум-художник на прощанье шепнул ей про Петра Петровича, что он – «ухо-парень, которому пальца в рот не клади».

И вот для того, чтоб должным образом показать себя уху-парню, для того, чтоб отнять у него всякую возможность к оттяпыванию чужих пальцев, кума облачилась в шерстяное платье, пришила к нему шикарное, так много говорящее панье³ и засела с жильцом за чай не только с полным сознанием безопасности собственного пальца, но даже с твердою уверенностью в самом непродолжительном времени если не совсем отхватить голову у неприглядного господина, так, по крайней мере, взбаламутить ее...

И действительно, кум-художник и его многочисленные друзья, часто посещавшие подмосковную деревеньку как для безмятежной на лоне природы выпивки, так равномерно и для сближения с народом, большею частью уезжали от кумы с отуманенными головами и облегченными кошельками. Ее несокрушимое убеждение в том, что она должна жить и кормиться на счет молодых, а за недостатком оных – и старых московских господ, всегда побивало фанатерию этих господ, упорно отрицавшую всякую возможность серьезного на них влияния со стороны какой-нибудь неумытой Химки или толстоногой Палашки.

Черные, слегка смазанные фиксауаром брови кумы, ее белые полные щеки и широкий бюст, с настойчивою храбростью солдата стремившийся вперед, непременно обуздывали

³ *Панье* (от франц. *rapie*) – фижмы.

дерзкое самомнение москвичей и сводили их гордые думы относительно неумытой твердокожести Палашек и Химок на почву гуманности и равенства, которая умственными, так сказать, сохами текущего времени вся испажана вензелями, говорящими в назидание заносчивых людей о том, что они, наравне с людьми приниженными, происходят от одного праотца – Адама. Мало этого: при благодетельном содействии счастливых отметин, которыми природа так щедро разукрасила куму, а равно вооруженная врожденною юркостью, значительно изощренною в кухнях ее именитых покровителей, она оказывалась несравненно сильнее московских кумовьев, посещавших ее. Не они удивляли ее, деревенскую женщину, чудесами цивилизации, выработанными столицей, а она, напротив, пригибала их к подножию своих сельских пенатов и заставляла приносить им обильные жертвы – путем бойких, политических разговоров, уменья расположить городских, большею частью сдерживающихся людей к бестрепетному опоражниванию бутылок и, наконец, наделенная способностью после крепкого пьянства с слабонервными *господишками* превращаться в еще более удалую плясунью и голосистую песенницу, – кума обделывала своих гостей, как она говаривала, за первый сорт. Опивая и объедаая их сама, она в то же время наталкивала и соседей своих на всяческое горожан опивание и обирание, справедливо рассуждая, что и соседская денежка не щербата, что горожанин завсегда из пустого может денежку вышибить, а мужик такого фокуса выкинуть не в силах покуда...

И вот, вследствие всех этих вещей, словно бы намагнетизированные этим панье разбитной женщины, ее московские гости, как телята, тянулись за нею по сельским хороводам, где телята эти в одно и то же время и изучали якобы мотивы отечественных песен, и знакомились с типами сельских красавиц, поливая красоту их, для успешнейшего ее процветания, водкой, настоящей на мухах, и «народным пивом», этим прекрасным суррогатом, так успешно привлекающим народные массы к доброй нравственности и к усвоению ими различных полезных ремесл и мастерств...

Умела также кума, предварительно вошедши в плутовскую сделку с кабатчиком, затащить дурашливых горожан в вонючий сельский кабаk, который в их пьяных глазах получал тогда поучительное значение народного клуба, – и во всех этих, по словам кумы, расприятных местах горожане должны были, большею частью против своей воли, до одури пить водку, швырять целыми горстями деньги каким-то сиротам, сплошь залепленным как бы библейскою проказой, – каким-то благочестиво и слезно крестившимся вдовам с багровыми желваками вместо глаз и, наконец, целоваться с свирепыми пучеглазыми мужиками, большая часть которых, находясь многие годы под влиянием белой горячки, горланили песни и разговоры, отличавшиеся толковостью сумасшедших домов.

Несмотря на пятичасовое пребывание Беспокойного на даче кумы, она никак не могла заставить его проделать хоть одну, самую маленькую штучку из числа сейчас описанных. Литературщин, ничуть не примечая направляемых на него обольщений, по-прежнему громко кашлял и, улыбаясь, молчаливо вышивал канву своего романа такими же прихотливыми узорами, как прихотливы были те беспрестанно изменявшиеся слияния месячного и звездного света с синими тенями ночи, которые тихо скользили по поверхности пруда, летали по вершинам сонных деревьев и, как будто отыскивая что-то, ползали по низкой росистой траве.

Такое упорное невнимание со стороны Беспокойного страшно злило куму. В глубине души своей она назвала его дохлым и полоумным чертом и наконец клятвенно обещалась показать ему со временем здоровую коку с соком...

Тем и кончился этот вечер для моих так случайно сошедшихся героев, навевая на них, несмотря на свое почти непрерывное безмолвие, совершенно разнородные вещи: Беспокойный уходил спать с какими-то тихими думами о красоте сельской природы, давно уже не виданной им... Ему смутно представлялось, что вот именно здесь где-то, недалеко от него, под рукою как бы или около ушей, разнеживая организм, журчит тот сказочный источник живой воды, в

который больному человеку стоит только окунуть голову – и он выйдет из него с новой силой и новой мыслью...

Бесчисленное множество видений, таких же нежных и неуловимо быстро промелькивавших, как были быстры и нежны катившиеся по вечерней синеве неба звездные метеоры, промелькнуло пред Беспокойным в то время, когда кума, сердито громыхая чайным прибором, ругательски ругала своего паскудника кума, шустрого художника в синих очках, который удружил ей рекомендацией такого захирелого шута.

– Живут же на белом свете эдакие дьяволы! – говорила кума, молясь на сон грядущий и стараясь в то же время оплеушинами усмирить крики своего ребенка, страдавшего чудовищною золотухой. – Водятся же такие идола! Вина не жрет... Господи! Да что же это? – Затем следовал окрик, направленный к больному ребенку: – Да когда же ты угомонишься, змей огненный! Али я на тебя, в самом деле, на змееныша, управы никакой не найду? Дрыхни!.. Девочку позвала... песнями его развеселить, – отогнать велел. «Девки ваши, говорит, брюхами песни играют, а не голосом...» Ну, погоди, богомаз проклятый, – я тебе покажу, как таких жильцов на фатеру ко мне привозить!..

В это время с недалекой от подмосковной деревеньки церкви раздался протяжный колокольный звон. Заснувшие окрестности, как бы пораженные сильным ударом, испугались его и дрогнули. И нельзя им было не ужаснуться и не дрогнуть от этого звона, так как он служит знаком нашествия на землю угрюмо молчащей полночи, вместе с которой, по вере глухих деревень, к беспечным изголовьям людским слетаются нечистые духи, всячески обольщающие как дурные, так и хорошие инстинкты всего, что ползает в серой пыли земной и парит в высях голубого неба.

Вследствие этой странной особенности сельской полночи Беспокойный до самого утра прогрел никогда и нигде прежде не виданными им людьми. Озаренные ничем не смущаемою радостью, они не пресмыкались более по жалкой земле, а реяли в каких-то светлых, цветочных пространствах между нею и небом, возносясь по воле своей даже к огненным звездам. При этом Беспокойный в качестве человека, всецело отдавшегося всяческому анализу и изучению, в первый раз в эту ночь имел счастье заметить, что огонь тех звезд не только не палил дерзких людей, приближавшихся к нему, а, напротив, просветляя их еще больше, уносил еще дальше куда-то и потом, ежели они желали, снова приносил их на своих лучезарных крыльях на землю, радовавшуюся их возвращению...

И куме тоже подрадели искушающие духи полночи. Она, в свою очередь, видела во сне, как ее смиренный постоялец, сидя с нею в кабаке, играл будто бы на гармонике так разухабисто, как она ни от одного кучера еще не слыхивала. Он дарил ее ситцевыми и шерстяными материями, целыми штофами покупал ей сладкую рябиновую водку, с молодецким посвистом и гарканьем куражился над нею:

– А-а, толстопятая! Ты вчера подумала про меня, что я – нюня... Ха-ха-ха!.. Ты подумала, что мы такой бабенки уж и оплесть не в силах... так, что ль – а? Ха-ха-ха!.. Пей-ка вот да получай от нас на постройку избы сотенный билет. У нас денег-от побольше будет, чем у твоего кума художника. Пушай у него на носу синие очки вздеты...

И при этих словах не только из карманов, а даже из носа, рта и ушей сыпал смиренный постоялец на свою дачную хозяйку целые кучи разноцветных ассигнаций и звонкой серебряной мелочи. И вероятно, что и по настоящее время Беспокойный, попавший по милости прихотливой сельской полночи в такие беспардонные кутилы, продолжал бы снабжать куму разным добрищем, ежели бы игривый дух полночи, раздраживший ее таким милым сном, с большим испугом не улетел куда-то от ее подушки, испугавшись крестного знамения, которым глупая женщина имела неосторожность осенить себя в благодарность за благодать, так неожиданно ее посетившую...

II

Наступившее утро прогнало духов сельской полночи с их соблазнительными чарами. Самые первые шаги этого утра были чутко слышаны Беспокойным, который вследствие болезни и городских привычек никогда не вставал в Москве ранее десяти часов утра. Он с давно не испытанным наслаждением прислушивался к этим тихим, ароматным шагам, которыми сельская летняя ночь уходит куда-то, давая после себя место все более и более с каждой минутой разрастающимся светлым волнам дневным.

Немного времени спал в эту ночь Петр Петрович, но чувствовал себя почему-то совершенно свежим. Его сначала разбудил тихий прохладный ветер, от которого глухо зашуршала соломенная крыша, и вместе с тем от этого же ветра будто бы покачнулась и разредела густая тьма, наполнявшая комнату. В этой, значительно разреженной тьме тревожно заматались и зашевелились теперь миллионы каких-то маленьких фосфорически светившихся точек, которые, наподобие распуганных птичек, с необыкновенною стремительностью разлетались из избы и, бесследно исчезая где-то, заменялись другими точками, такими же маленькими и блуждающими, но уже отмеченными другим характером: их серовато-прозрачные, напоминавшие собою паутину или дорогое старинное кружево массы ясно говорили, что из громадного прилива этих масс на земле получится вечно чарующая людей красота летнего дня с светлым солнцем и голубым небом.

В густом кустарнике палисадника, который с лицевой стороны окаймлял собою приют Беспокойного, быстро порхала какая-то пташка и весело посвистывала. Давным-давно переставший удивляться чему-либо Петр Петрович слушал теперь этот свист с большим удивлением: птичка тоненьким таким голоском, по-человечески, членораздельно, скороговоркой, щебетала ему: «Встанешь ты, что ли?»

Весело показалось Беспокойному от этого так приветливо и настойчиво повторявшегося птичьего вопроса. Он самодовольно улыбнулся, так неожиданно услышав голосок, обращенный как будто к его одиночеству, и, забывши про зловерное влияние на его недуги разнообразных сквозных ветров, отворил окно.

Величавая панорама раннего сельского утра, сверкнувшая в узком оконце, ошеломила человека, изболевшего от смертельного городского горя. Петр Петрович долго не мог понять живящей силы ослепившей его картины: бесцельно вглядываясь в ее мощные штрихи, состоявшие из синих летучих туманов, дымившихся над прудом, блестящие в выси рассветающего неба темной зеленью леса, — он видел не эти штрихи, а с каким-то особенно глубоким, болезненным страданьем припоминал городские картины, на которые он смотрел целые пятнадцать лет и которые непонятным для него образом сделали из него больного до полнейшего бессилия человека.

Бессознательно предоставив свою хрипящую грудь тихим налетам полевого ветра, Беспокойный припоминал свою многолетнюю жизнь по этим «широкошумным» городам, где людские пульсы обязаны биться с такою тревожною быстротой. Он вспоминал эти буйные, никогда не смолкающие меблированные комнаты больших городов с их пустынной затхлостью и беспощадным обдираньем, с их убого цыганской обстановкой, с своим собственным чисто рыцарским отношением ко всему этому безобразию, тяжелому и пугающему, как горячечные сновидения, — и думал: «Зачем же я жил там?»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.